

DOI: 10.31860/0131-6095-2019-4-234-238

© М. Э. Баскина (Маликова)

«Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНИЯМ»: «ДЕЛО БРОННИКОВА»*

В 1932 году ленинградское ОГПУ отчиталось о ликвидации контрреволюционной организации «фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов», в центр которой была поставлена сейчас почти забытая фигура М. Д. Бронникова (1896–1942?), киноведа, переводчика, музыканта-любителя, названного организатором десятка таких кружков — «Бодлэровская академия», «Штроггейм клуб», «Шекспир банджо» и др. Из более известных литературных фигур, проходивших по этому делу, — переводчик М. Л. Лозинский, «а/с кружок» которого «Шерфоль» — небольшая девица, за исключением руководителя и Бронникова, компания, коллективно переводившая в начале 1920-х годов сонеты Эредиа и в 1932 году готовившая перевод для издания в «Academia» (Лозинский получил три года условно, переводчицы из его семинара М. Н. Рыжкина-Петерсен и Т. М. Владимировна — по три года ссылки); поэт, стиховед и переводчик Н. Н. Шульговский, посетитель «мистическо-спиритуалистического салона» Т. В. Билибиной, умерший в 1933 году в заключении. В своем роде знаменит и ведший это дело следователь А. В. Бузников, который «специализировался» на делах против интеллигенции: в 1932–1934 годах вел дела обэриутов, Иванова-Разумника, «славистов».

Авторы «документального повествования» П. Л. Вахтина, Н. А. Громова и Т. С. Позднякова посвятили каждому из 22 персонажей — 21 осужденному и следователю Бузникову — отдельную главку. Закljučают книгу три приложения: краткие биографические справки о людях, осужденных по делу, у которых в графе «дальнейшая судьба» чаще всего: «погиб в блокаду», «умер в заключении», «расстрелян», «неизвестна» — это целое «погибшее поколение»: большинство осужденных были тридцатилетними; характеристики указанных в деле кружков с их в основном вполне невинными занятиями (создание фотофильмов, пропаганда творчества американского режиссера Эриха фон Штроггейма, обсуждение вопросов драматургии, чтение и обсуждение литературных произведений, салонный спиритуализм); фрагменты произведений обвиняемых, сохранившиеся в Санкт-Петербургском архиве ФСБ. Книга, как поясняют ее авторы, выросла из материалов, скопированных для истории Публичной библиотеки сотрудниками центра А. Я. Разумова «Возвращенные имена» в нена-

долго приоткрывшемся в 1990-е годы архиве ФСБ. Обнаружив в них пятитомный корпус следственного дела № 249-32 (которое авторы книги называли «делом Бронникова»), освещающего целый совершенно неизвестный слой культурной жизни Ленинграда рубежа 1920–1930-х годов,¹ который составляли интереснейшие, разнообразные и почти совершенно стертые из отечественной истории люди, они провели огромную работу, дополнив другими архивными материалами, в основном личными и семейными, биографии проходивших по делу людей.

Воссозданные авторами книги по архивным крупницам, ее персонажи действительно встают перед читателем «как живые» (для читателя-петербуржца и царскосела эта живая связь подкреплена упоминанием знакомых фамилий и адресов).

Так, биография Бронникова дополнена ценнейшим источником, обнаруженным покойной П. Л. Вахтиной, — воспоминаниями М. Н. Рыжкиной-Петерсен — секретаря К. И. Чуковского, сотрудницы Публичной библиотеки, участницы переводческого семинара Лозинского, — хранящимися в архиве Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына в Москве.²

¹ Впрочем, ксерокопия придуманной следователем Бузниковым «схемы» ликвидированной «контрреволюционной организации», где все «фашистские молодежные кружки» и «антисоветские литературные салоны» выстроены вокруг фигуры Бронникова (в книге на вклейке между с. 192–193), сохранилась в архиве Е. Г. Эткинда (ИРЛИ. Ф. 927; фонд проходит научно-техническую обработку), куда, вероятно, попала из архива М. Л. Лозинского. Можно предположить, что узкому кругу ленинградской интеллигенции это «дело» было известно давно.

² Судьба Рыжкиной-Петерсен выделяется из ряда: эвакуируясь из Ленинграда, она нашла возможность перейти на немецкую сторону и вместе с армией ушла в Германию, где прожила до самой смерти в 1984 году. Один из авторов книги Н. Громова сообщает в другом месте, что в воспоминаниях Рыжкиной-Петерсен много не только антисоветских, но и антисемитских пассажей, которые авторы книги опустили, потому что те «не ложились в сюжет». И это досадно, так как антисемитизм составляет общую, характерную черту данного круга, которую нелепо игнорировать или заглушивать, по меньшей мере после публикации в издательстве «Новое литературное обозрение» известного «Дневника» Л. В. Шапориной (М., 2012).

* Вахтина П., Громова Н., Позднякова Т. Дело Бронникова. М.: Издательство АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019. 384 с.

Показания сравнительно более известных лиц из числа проходивших по делу — М. Л. Лозинского, Н. Н. Шульговского, киноведа Н. Н. Ефимова, живописца и иллюстратора В. А. Власова — в целом вписываются в канон этого жанра.

Лозинский на всех допросах (его несколько раз, начиная с 1921 года, арестовывали и подвергали «чистке») всегда верен себе и говорит своим «нормальным» языком: «ВОПРОС: Вы были старым представителем общества <...> как Вы отнеслись к попыткам интеллигенции игнорировать Октябрь? [ОТВЕТ] / молчит/ Это крупное событие, которое пришлось пережить, я принадлежал к типу созерцателей. Человек, в стороне стоящий. Мне не стоило труда и внутреннего перелома понять, что здесь делается на глазах история <...>» (с. 173). По «делу Бронникова» он, в отличие от других, виновным себя не признал: «Я должен категорически протестовать против предположения, что занятия в моей студии могли привлекать молодых поэтов как нечто вроде „убежища“ от суровой советской действительности и что поэтому атмосфера этих занятий должна была быть „политически вредной“. <...> Интерес к занятиям был большой, но интерес чисто художественный, подтверждаемый к тому же увлекательностью коллективного метода работы. Результат проделанного труда — переведенная студией книга исключительного мастера стиля — свидетельствует об интенсивности этого труда» (с. 176–177). Благодаря заступничеству влиятельных лиц, Лозинский получил самое легкое наказание по 58-й статье: три года условно, но реабилитирован только после смерти. Фраза «я уволю к погибшим поколениям» — из его перевода «Ада» Данте (1937).

Известный советский живописец и книжный иллюстратор В. А. Власов дал подробные показания против Бронникова, был освобожден досрочно по ходатайству своего тестя академика В. Ф. Шишмарева, прожил вполне благополучную жизнь советского художника, оставил воспоминания, сохранившиеся в Русском музее, в которых нет упоминаний о людях из «дела Бронникова». Киновед Н. Н. Ефимов также дал инкриминирующие показания против многих своих знакомых, получил относительно мягкий приговор, после освобождения работал по специальности. «Николай Николаевич был человек насмерть запуганный, — вспоминает знавшая его в поздние годы сослуживица, — совершенно стертый человек, прибитый <...>. Он очень боялся советской власти и все время опасался прогневить начальство» (с. 109).

Несколько менее типичен психологический облик и характер показаний поэта и стиховеда Н. Н. Шульговского, самого старшего из обвиняемых (ему было 52 года). Авторы книги считают, что эти показания «говорят сами за себя и не требуют комментариев. Такую речь мог произнести только глубоко убежденный в своей правоте и абсолютно бесстраш-

ный человек. Человек, который казался фигурой трагикомической, а оказался героической личностью» (с. 295). Шульговский подробно сообщал (стилистика убеждает в его, а не следователя, авторстве), что он и его знакомые «весьма тесно связаны с миром белой эмиграции, и всякая весть из этого мира, хотя бы о том, что там идет жизнь, что там люди живут, работают, творят, делают усилия к тому, чтобы помочь нам освободиться из-под гнета советского режима, радует и ободряет нас» (с. 293), он объявил себя «пораженцем», желающим уничтожения советской власти и «возврата к дореволюционному образу правления», и бесконечно увеличивая свою вину, утверждал, что «борется» за перемену существующего строя: «Моя борьба, внешне мало заметная, приносит, однако, вполне реальный вред существующему политическому строю. Сам я не бросаю бомб — мой возраст, мое здоровье, мои жизненные навыки и воспитание гуманитарника не позволяют мне этого. Но молодежь, соприкасающаяся и соприкасавшаяся со мной, учившаяся на моих поэтических произведениях, по моим философским и политическим принципам, на моей ненависти к большевистской диктатуре, способна сделать то, чего я не могу сделать сам. <...> Всюду и везде, где я имею возможность бывать, я развиваю свою точку зрения на существующую в стране власть, будя в людях желание бороться с этой властью, агитируя молодежь, которая должна составить главные кадры борцов за перемену строя» (с. 294–295). Если соотносить эту самоубийственную похвальбу с тем, что мы знаем о Шульговском еще сравнительно успешной, дореволюционной эпохи его жизни («вполне цельный и законченный психологический тип графомана, начисто лишенного представления о своем реальном месте в литературном процессе»)³ и жалких пореволюционных лет, о которых можно судить по его письмам к В. С. Миролубову (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 1281) и внутренним рецензиям 1924–1931 годов для издательства «Время», свидетельствующим о его озлобленном и уязвленном нежелании и неспособности понимать окружавшую его современность⁴ (к 1932 году он потерял даже этот источник дохода, остался совершенно один и «страшно бедствовал»), то приходится предположить, что, вероятно, найдя себе прибежище в скромном литературно-мистическом салоне Т. В. Билибиной, он

³ Эдельштейн М. Ю. «Мастодонт поэзии не кто иной, как Вяч. Иванов»: Два письма Н. Н. Шульговского к В. В. Розанову // От Кибирова до Пушкина: Сб. в честь 60-летия Н. А. Богомолова / Сост. А. Лавров и О. Лекманов. М., 2011. С. 702.

⁴ См.: Маликова М. Э. «Время»: история ленинградского кооперативного издательства (1922–1934) // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде. По архивным материалам: Сб. статей / Сост. М. Э. Маликова. М., 2014. С. 177–190.

никак не мог там всерьез ни на кого влиять, его показания — это речь не героя, а отчаявшегося безумца, который не вынес бы трех лет лагерей, к которым был приговорен — он умер через полгода в заключении.

Совершенно поразительны многие из стертых из общей памяти людей, репрессированных по делу Бронникова. Так, о жизни самого молодого из осужденных, А. А. Крюкова (1909 — после 1951, в заключении; в тюремной анкете на вопрос о том, кем был до 1917 года, написал: «Ребенок»), «можно было бы написать роман, по своему напряжению и даже сюжету сравнимый с „Графом Монте Кристо“ Александра Дюма» (с. 134): из древнейшего дворянского рода, в нищие 1920-е годы посылал через родственников свои произведения (переводы на французский Гумилева и Ахматовой, статья о Пушкине и др.) во французские издания (не опубликованы). Даже для следователя этот неординарный и до странности открытый молодой человек переписал свою поэму «Актябрь» и другие стихи (сохранившиеся в деле и приведенные в рецензируемой книге), сочиненные «под влиянием странно скрестившихся <...> Альфреда де Виньи <...> и Мережковского <...> лишь для полноты антисоветской грани моего творчества» (с. 339–340). Был арестован как посетитель мистико-литературного салона Мооров, проводивший антисоветскую агитацию в Красной армии, куда попал одноклассником, приговорен к 10 годам лагеря, через год бежал со строительства Беломоро-Балтийского канала, был задержан на границе с Финляндией, назваться отказался и сообщил, что тайно перешел из Франции с «разрушительным снарядом», намереваясь во время демонстрации в Москве взорвать правительственную трибуну, подписался: «Мюрат Люсьен Жером, принц» (с. 148). До 1945 года вновь находился в лагере (написал обращенное к Сталину стихотворное послание: «Этой зимой мне стукнуло тридцать, / Из которых уже 8-й год заключен в спертом воздухе неволи...»), в 1948 вновь попал в лагерь — «дальнейшие следы Алексея Алексеевича Крюкова потеряны» (с. 158).

Из судеб, восстановленных трудами авторов книги, сложилось документальное повествование, актуальная сила воздействия которого, кажется, оказалась неожиданной и для них, и для читателей. Несмотря на то, что книга вышла в 2019 году, уже опубликованный в 2018 году отрывок из нее на colta.ru сразу вызвал обсуждение. Говорили прежде всего о политических переключках с современностью, неизменности приемов работы органов охраны, придумывающих и провоцирующих «сетевые» дела. Политическая злободневность — неотъемлемая часть современной культурной рецепции такого рода исследований о 1930-х годах, и это необходимо зафиксировать. Давно замечено, что история отечественной культуры, и в частности литературы, может быть написана как история охраны (или история цензуры). «Дело Брон-

никова» это в очередной раз подтверждает: не только собственно судьбы, но и биографические документы и произведения репрессированных по этому делу людей, вообще та сложность и разнообразие общественной жизни, среды, которую они создавали, оказались совершенно стерты, вырваны, вырезаны из отечественной культуры, а материалы дел по-прежнему находятся в ведении тех же репрессировавших их «органов», которые до сих пор препятствуют свободному доступу к ним.

В периоды отечественных «оттепелей» уже произошло несколько открытий «второй» русской литературы, радикально переменявших общую картину: сначала это была русская эмигрантская литература, потом советская неофициальная, в последние годы блокадная и лагерная (литература тут понимается в широком смысле, включающем документальную). «Дело Бронникова» в очередной раз напоминает о том, что есть еще одна «вторая литература» — дневники, письма, литературные произведения, переводы репрессированных, как известных, так и безвестно сгинувших, конфискованные ГПУ–ФСБ, которые когда-нибудь откроются и уже сейчас функционируют как скрытый, но осязаемый источник гравитации в поле отечественной культуры.

Нынешний и будущий публикатор и исследователь этих архивных материалов столкнется с особыми проблемами, которые видны в томе «Дело Бронникова».

Во-первых, это общественная значимость материалов, которая делает публикацию актуальной и обсуждаемой. Помимо того очевидно обстоятельство, что это требует особой scrupulousности и точности, здесь возникает другое этическое требование к исследователю: странным образом, эти документы личных и социальных трагедий заставляют филолога быть нравственно честным, безукоризненно точным, способным к эмпатии (это обстоятельство хорошо известно публикаторам блокадных и лагерных документов). Авторам книги «Дело Бронникова», выбравшим модус как будто простодушного «рассказа о разных людях», удалось соблюсти верный человеческий тон. Пожалуй, публикация «репрессированных» архивных документов, «воскрешение» и «спасение» репрессированных людей — и акторов, и тех, кто составлял не менее важный элемент культуры — среду ее рецепции, — сейчас наиболее значимая и живая историко-филологическая область.

Во-вторых, работа с такого рода материалами определяется тем, что они доступны в заведомо неполном, искаженном виде — либо в «закрытых» архивах (в настоящее время к ним относятся не только архивы ФСБ, но и другие государственные архивы, закрывающие, под лицемерным предлогом заботы о «личной» тайне, целые архивные дела и отдельные страницы в них), либо в любительских, в основном в Интернете, публикациях энтузиастов, родственников. В первом случае

проблема известная — лакуны (причем, как в случае с «делом Бронникова», исследователь знает, что те или иные документы в архиве ФСБ есть, но не может их получить), во втором — дилетантский характер работы публикаторов с материалами (это свойственно даже таким поразительно упорным и результативным личным исследованиям, как проект stepanivanovichkaragodin.org). Очевидно, что профессиональный историк и филолог, хотя и опирается в большой степени на эти «сетевые» материалы, как в процессе работы, так и после ее публикации, поскольку вступает в принципиально открытое поле, где кто-то «из Интернета» может обладать неизвестными ему сведениями, сам должен представлять материалы по совершенно другому, научному стандарту. В рецензируемой книге некоторую претензию вызывает небрежность именного указателя: в нем раскрываются имена-отчества, однако для некоторых легко находимых лиц это почему-то не сделано: Гуковская (Рыкова) Н<аталья> В<икторовна>; Курбатова Зинаида <Орьевна>; Орбели Иосиф, Леон и Рубен <Абгаровичи>; Радловы Н<иколай> и С<ергей> <Эрнестовичи>; Шапорина (Яковлева) Л<юбовь> <Васильевна> и др. Кроме того, кое-где можно было бы добавить поясняющий комментарий: так, в протоколе допроса Лозинского 1929 года (с. 172–174)⁵ один за другим идут вопросы, считает ли он эмигрантов Бальмонта и Бунина «врагами трудящихся»: соединение этих имен указывает на то, что Лозинского пытались подвергать к делу 1930 года об авторстве опубликованного анонимно в 1927 году в русской эмигрантской печати обращения «Писателям мира» с отчаянными словами о цензуре и репрессивных ограничениях свободы слова в советской России и мольбой о «моральной помощи», адресованной западному писательскому сообществу; в начале 1928 года в его поддержку выступили Бальмонт и Бунин с совместным обращением к Р. Роллану «Мученичество русских писателей». Тогда официальная советская печать назвала письмо «Писателям мира» «эмигрантской фальшивкой», однако в 1930 году ГПУ возбудило дело против ленинградских издателей: их обвиняли в авторстве «Письма», пытаясь, через С. Ф. Платонова, также якобы подписавшего письмо, привязать к «Академическому делу».⁶ Таким образом еще больше уплотняется ряд

предшествовавших страшному 1937 году последовательных репрессий против дворянства и интеллигенции в Ленинграде: от «Таганцевского дела» 1921 года, «дела лицейстов» 1925 года и до высылки дворян в 1935 году, после убийства Кирова, — в который встраивается «дело Бронникова». Многие из проходивших по нему людей подвергались репрессиям и по другим делам этого ряда.

В-третьих, своеобразие текстов — данных под следствием показаний — требует их критического чтения. Иногда гетерогенность речи в протоколах допросов прозрачна: если изолировать (вычеркнуть) бесконечно повторяющиеся инкриминирующие определения «фашистский», «антисоветский», «контрреволюционный», «монархический» и проч., принадлежащие следователю, то выявляется рассказ подследственного о вполне невинном культурном времяпрепровождении, который вторжение голоса следователя превращает в безусловный обвинительный документ: «Я входил в ~~антисоветский~~ кружок „Безымянный клуб“ <...>. На собраниях клуба ставились доклады о киноискусстве, ~~трактуемые нами с точки зрения враждебной социальной системы~~» (с. 99), «Бронников стремился привить членам клуба интерес к современной западноевропейской ~~фашистской~~ литературе <...>. Обычно он выступал сам с чтением переводов <...> Пруста и других современных мастеров ~~воинствующей~~ прозы и поэзии Запада» (с. 104–105), «...~~незаконный антисоветский~~ кружок „Бодлеровская академия“ <...>. На собраниях кружка мы зачитывали и обсуждали наши ~~антисоветские~~ произведения <...>» (с. 115). Этот тип двуголосого слова в данных под следствием показаниях описан опытным узником тюрем и ссылок Р. В. Ивановым-Разумником, дело которого вел тот же следователь Бузников: от подследственного добиваются признать себя «идейно-организационным центром народничества» («Вы говорите: „со мной знакомы...“, мы говорим: „вокруг вас группируются“... Из ложной скромности вы отказываетесь принять вторую формулировку, мы же только ее считаем соответствующей действительности»), что, как он полагает, было необходимо следователям как «фигурный листок, который позволил бы стыдливо прикрыть тот факт, что в стране пролетарской диктатуры ссылают за идеологию и „неблагомысленность“ <...> стыдливость требует фигурового листка, каким является „организационная группировка“».⁷ Очевидно, что в «деле Бронникова» следователю Бузникову точно также нужен был «организатор» антисоветской «сети» кружков и салонов, на роль которого подошел общительный Бронников, с навязываемой ему ролью согласившийся (в отличие от Иванова-Разумника): «Во всех созданных мною объединениях центральное

⁵ Там же (на с. 173) можно с уверенностью раскрыть имена, которые называет Лозинский, возражая на слова следователя о том, что его круг «встретил враждебно Октябрь», и которые в протоколе перевраны: «Пушик, Аппман» — совершенно очевидно, что это искусствовед Н. Н. Пунин и художник Н. И. Альтман.

⁶ Подробнее об этом см. в нашей статье «„Время“: история ленинградского кооперативного издательства» (с. 227–233).

⁷ Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. М., 2014. С. 91.

направляющее положение занимал я. Я насыщал идейно эти объединения. Мои политические, философские и художественные интересы являлись превалирующими в этих объединениях <...>. Я был старше их всех годами и обладал значительно большей культурой, что делало из меня организатора и руководителя этой молодежи <...>» (с. 50). Эти утверждения плохо вяжутся с воспоминаниями о Бронникове как человеке «безобидном во всех отношениях» (с. 49), «маленьком, плюгавеньком, недоучившемся лицеисте Александровского лицея» (с. 35), прозванном в кружке Лозинского «мальчиком», «несчастливым и талантливым человеке» (с. 77), «проклятом Бронникове», который «утопил» невинных людей (с. 201). Авторы книги отмечают, что показания Бронникова стилистически явно принадлежат не ему, утонченному стилисту, поклоннику Пруста (ср.: «Признаю, что вплоть до ареста моя деятельность носила контрреволюционный антисоветский характер и была направлена к группированию вокруг себя идейно близких мне лиц, связанных со мною общностью антисоветских политиче-

ских убеждений. Это группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных антисоветских кружков...»; с. 49–50), однако делая его центральной фигурой и называя дело № 249-32 «делом Бронникова», фактически не опровергают концепцию следователя — вероятно, из неотрефлексированной и естественной эмпатии к воскрешенным им людям, желания представить их не только «жертвами», но и акторами, «героями». Как кажется, по меньшей мере в виде предположения можно поставить под сомнение всю конструкцию следователя Бузникова и не согласиться с ролью действительно «несчастливого и талантливого» Бронникова как организатора вообще не существовавшей в реальности сети антисоветских кружков.

Во всяком случае, введенное в этой книге наименование «дело Бронникова» теперь навсегда вошло в историю отечественной культуры в одном ряду с «Таганцевским», «делом лицеистов», «делом о немецко-русском словаре» и многими-многими другими делами против интеллигенции 1920–1930-х годов.